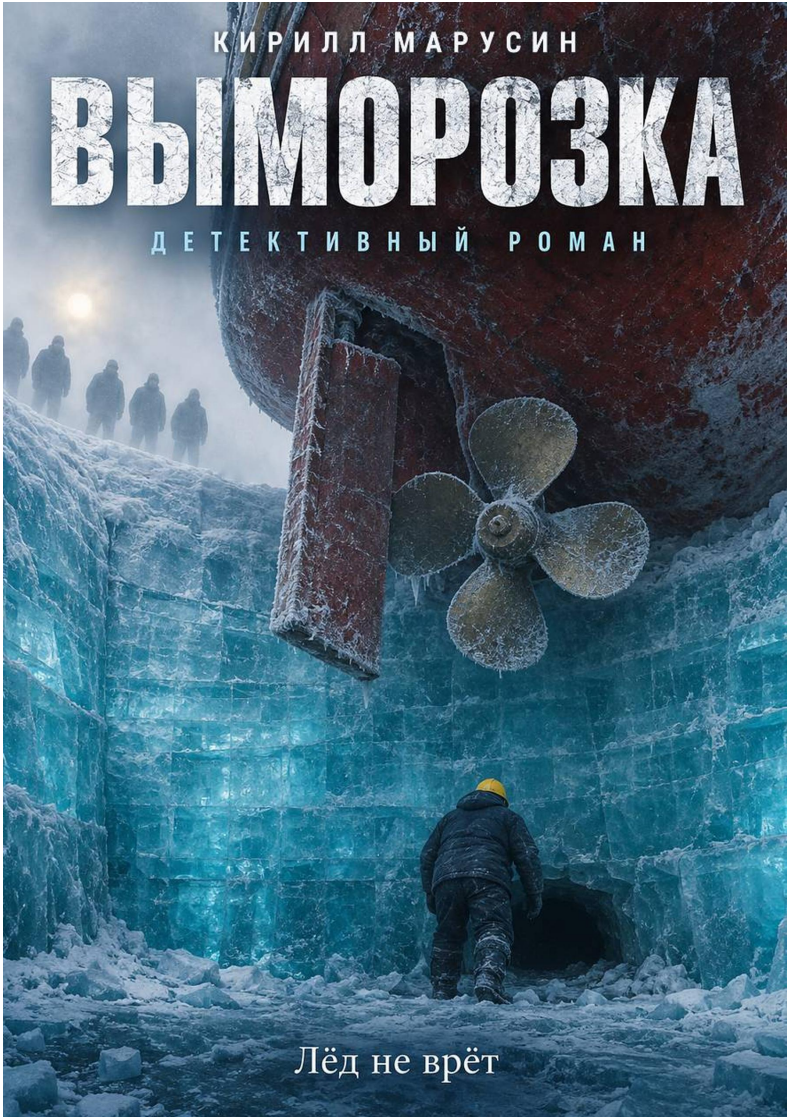
КИРИЛЛ МАРУСИН

ВЫМОРОЗКА

ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН



Лёд не врёт

Кирилл Марусин
Выморозка

https://litres.ru/75040574
SelfPub; 2026

Аннотация

Январь 2015 года, Якутия, минус сорок восемь. В Жатайском затоне рабочие вырубают во льду яму под кормой вмёрзшего буксира "Амга", чтобы добраться до винта. Петербургский фотограф Глеб Ладыгин приезжает снимать это редкое ремесло и на третий день становится свидетелем гибели человека. Яму затапливает на глазах у всей бригады. Несчастный случай, свидетелей шестеро, вопросов нет.

Вопросы есть только у мерзлотоведа Саввы Эверстова, который собирает лёд, как другие собирают книги, и умеет его читать. Лёд вокруг тела рассказывает не то, что рассказывают люди. А семнадцать лет назад на этом же буксире уже находили мертвеца, в рубке, запертой изнутри.

Все улики у читателя перед глазами, от первой страницы до последней. Лёд не врёт. Остаётся понять, кто врёт.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 7
ГЛАВА 1 7
ГЛАВА 2 16
ГЛАВА 3 25
ГЛАВА 4 34
ГЛАВА 5 45
ГЛАВА 6 53
Конец ознакомительного фрагмента. 58

Кирилл Марусин
Выморозка

ВЫМОРОЗКА

Детективный роман

Кирилл Марусин

Якутск — Жатай, зима 2015 года

Все персонажи и события этой книги вымышлены. Жатайский затон, выморозка судов и якутские морозы существуют на самом деле.

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

пос. Жатай, 2 февраля 1998 года

…19 января 1998 года около 9 часов утра в рулевой рубке буксира-толкача «Амга», находящегося на зимнем отстое в Жатайском затоне, обнаружен труп капитана названного судна Рогова Сергея Вадимовича, 1953 года рождения.

Осмотром установлено: труп находится в положении сидя в капитанском кресле, полностью промёрзший. Дверь рубки на момент обнаружения открыть не удалось; вскрыта ломом работниками завода. По всему периметру дверного проёма с внутренней стороны имеется сплошной слой льда и инея толщиной до трёх сантиметров. Окна рубки целы, покрыты изнутри инеем. Переносная печь на дизельном топливе погашена, топливный бачок пуст. На столике — бутылка из-под водки «Столичная», пустая, вторая — початая, стакан, чайник со льдом.

Согласно акту судебно-медицинского исследования (эксперт Г. А. Кычкин) смерть Рогова С. В. наступила от общего переохлаждения организма на фоне тяжёлого алкогольного опьянения. Телесных повреждений, которые могли бы состоять в причинной связи со смертью, не обнаружено.

Опрошенные члены экипажа — старший помощник капитана Брагин Л. П. и механик Зуев Г. М. — пояснили, что Рогов С. В. в последние месяцы злоупотреблял спиртным и

неоднократно оставался ночевать на судне.

Принимая во внимание, что дверь рубки была закрыта и обледенела изнутри, что исключает присутствие посторонних лиц, а также отсутствие признаков насильственной смерти, — в возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием события преступления.

Этот листок, пожелтевший, с дыркой от скоросшивателя и чайным кольцом в углу, я увидел только в конце января пятнадцатого года. К тому времени человек, из-за которого я вообще оказался в этой истории, уже был мёртв, второй — тоже, а третий, самый главный, угощал меня чаем с брусникой и расспрашивал про Петербург.

Но я забегаю вперёд. Савва Иннокентьевич, когда читал мою рукопись, сказал, что забегать вперёд — это свойство воды. Лёд никуда не забегает. Лёд записывает всё по порядку, сверху вниз, день за днём, и если уметь читать — не соврёт ни на сантиметр. Попробую и я по порядку.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Майна

ГЛАВА 1
Минус сорок восемь

Якутск встретил меня тем, что его не было. Самолёт сел в воскресенье, одиннадцатого января 2015 года, в начале девятого утра по местному времени, и когда я спустился по трапу, оказалось, что города вокруг нет. Был свет прожекторов, упиравшийся в белую стену. Была сама стена — не снег, не дым, а что-то среднее, плотное, как вата в аптечной банке. И был звук: мой собственный выдох шуршал. Тихо, сухо, будто кто-то рядом пересыпал из ладони в ладонь мелкий песок.

— Шёпот звёзд, — сказала женщина, шедшая за мной, и подтолкнула меня в спину сумкой. — Не стойте, молодой человек, лёгкие застудите. Через шарф дышите.

Я натянул шарф до глаз. Через минуту шарф стал деревянным.

Тут надо объяснить, кто я такой и зачем прилетел. Меня зовут Глеб Ладыгин, мне тридцать один год, я фотограф. Не свадебный и не модный — я снимаю то, что в журналах называют «репортаж о людях труда», а мои знакомые — «опять

Глеб поехал мёрзнуть». До Якутска я снимал оленеводов на Ямале, маячников на Белом море и сборщиков клюквы в псковских болотах. Один московский журнал с хорошей бумагой и плохими гонорарами заказал мне историю про выморозку.

Я тогда не знал, что это такое. Редактор знала ненамного больше.

— Там, в Якутии, корабли зимой стоят во льду, — сказала она по телефону. — И под ними роют ямы. Во льду. До самого дна корабля. И люди туда спускаются и что-то чинят. Представляешь картинку? Лёд голубой, корабль ржавый, человек маленький. Две недели тебе хватит?

Мне хватило трёх дней, чтобы увидеть, как человек умер. Ещё месяца — чтобы понять, что он умер совсем не тогда. И ещё трёх — чтобы узнать, почему всё это видел именно я.* * *

* * *

Таксист ждал меня с табличкой «Ладыгин», написанной на картонке от коробки с бананами. Машина у него была праворукая, японская, укутанная снаружи в стёганое одеяло, как чайник на даче. Двойные стёкла — в прямом смысле: к родным стёклам изнутри были приклеены вторые, с воздушной прослойкой.

— Без этого никак, — объяснил таксист. Звали его Мичил, было ему лет двадцать пять, и он всё время улыбался. — Иначе надышишь — и всё, вслепую едешь. Первый раз

у нас?

— Первый.

— Тогда запоминайте. Машину не глушим — до апреля. Пальцем железо не трогаем. Очки на улице не носим, если оправа металлическая, — к носу прикипят. Телефон держим за пазухой, а то он на холоде за пять минут умирает. И на улице не стоим. Никогда. Идём — значит идём.

— А если надо постоять?

Он посмотрел на меня с сочувствием.

— Зачем?

Мы ехали сквозь туман. Я потом узнал, что это особый туман, ледяной, и что делает его сам город: каждая выхлопная труба, каждая форточка, каждый рот. При минус сорока пяти водяному пару некуда деваться — он замерзает прямо в воздухе и висит неделями, пока не потеплеет хотя бы до сорока. Чем больше людей, тем гуще. В центре, сказал Мичил, бывает видно на десять метров. Светофоры здесь вешают низко, и всё равно их замечаешь, когда уже проехал.

Из тумана выплывали и уплывали обратно странные вещи. Дом на бетонных ногах — под ним насквозь было видно улицу. Трубы, толстые, в жестяных кожухах, которые шли не под землёй, а над ней и перешагивали через дорогу воротами. Женщина в шубе до пят и с ресницами, белыми, как у Снегурочки на открытке. Лошадь — мохнатая, низенькая, с ледяной бородой, — которая стояла у забора частного дома совершенно неподвижно, и я решил, что это памятник, пока

она не моргнула.

— Почему дома на ножках? — спросил я.

— Мерзлота, — сказал Мичил. — Под нами лёд на триста метров вниз. Если дом поставить на землю, он её согреет, она поплывёт, и дом ляжет. Поэтому всё на сваях, а под домом должен гулять холод. У нас говорят: дом стоит, пока под ним мёрзнет.

Мне это понравилось. Я записал в телефон, и телефон, как и было обещано, умер у меня в руке.

* * *

До Жатая от аэропорта минут двадцать пять. Это отдельный посёлок на берегу Лены, пятнадцать километров ниже Якутска по течению: девять тысяч жителей, нефтебаза, судоремонтный завод и затон. Слово «затон» я до того встречал только у Паустовского. Оказалось, это залив, отгороженный от реки островом или косой, — место, куда на зиму сгоняют флот.

Гостиница называлась «Речник». Трёхэтажное здание из серого кирпича, на сваях, с верандой, зашитой фанерой. В холле пахло хлоркой и жареной рыбой. Дежурная выдала мне ключ с деревянной грушей и сказала, что меня ждут.

Ждала меня женщина лет под сорок, невысокая, в распахнутом пуховике, под которым был свитер с оленями. Она сидела на подоконнике и что-то быстро писала в толстой тетради в клеёнчатой обложке, какие я видел только в детстве у бабушки. У неё было круглое якутское лицо, очень чёрные

брови и манера, не поднимая головы, выставлять вперёд ладонь — мол, секунду, допишу.

Дописала. Закрыла тетрадь. Посмотрела на мои ботинки.

— Нет, — сказала она.

— Что — нет?

— В этом вы на лёд не пойдёте. Готовцева, Саина Егоровна, инженер по судоремонту. Я с вашей редакцией переписывалась. Ботинки снимайте, я вам унты принесла. Сорок третий?

— Сорок четвёртый.

— Значит, с одним носком. И куртку вашу — тоже нет. Красивая куртка. В Петербурге, наверное, тёплая.

— Мне в магазине сказали, она до минус тридцати.

— Вот до минус тридцати и будете в ней ходить. В апреле.

Так, не прошло и получаса, как я был в Жатае, меня раздели и переодели. Мне выдали унты из оленьего камуса, ватные штаны, заводской стёганый костюм — серо-синий, с отражающей полосой на спине, — рукавицы на меху, которые надевались поверх перчаток, и вязаную маску с прорезью для глаз.

— Костюм казённый, такие у всей бригады, — сказала Саина Егоровна. — Вернёте. Камеру как понесёте?

— На шее.

— Замёрзнет.

— Она профессиональная. Производитель обещает до минус десяти, но я снимал и в минус тридцать пять.

— Сегодня минус сорок восемь, — сказала она без выражения. — К среде обещают пятьдесят два. Для выморозки это хорошо. Лёд сухой, звонкий, растёт по четыре сантиметра в сутки. Для вашей камеры не знаю. Аккумуляторы держите под мышкой, меняйте каждые десять минут. В тепло с мороза камеру сразу не вносите — в пакет и в сени, пусть час отходит, иначе внутри всё зальёт конденсатом. Понятно?

— Вы фотограф?

— Я инженер, — сказала Саина Егоровна. — У меня каждую зиму кто-нибудь приезжает снимать. Двое уехали без камер. Один — без кончика носа.

Она сказала это так же ровно, как про четыре сантиметра в сутки, и я решил, что она шутит. Теперь я знаю, что Саина Егоровна не шутит никогда, просто правда в этих местах звучит именно так.

— Сегодня воскресенье, бригада отдыхает, — продолжала она. — Завтра к восьми я за вами зайду, пройдём инструктаж, и я отведу вас на «Амгу». Это буксир-толкач, у него замена гребного вала и ремонт насадки, майна кормовая, самая глубокая в этом сезоне — сейчас два девяносто. Там лучшая бригада, Аммосова. Вопросы?

— Что такое майна?

Она впервые улыбнулась — коротко, одними глазами.

— Завтра увидите. Словами это не объясняют.

Уже в дверях она обернулась:

— И ещё. Ваша редактор писала, что вам нужны «портре-

ты, лица, характеры». С лицами у нас трудно. Не обижайтесь на людей.

— В смысле — не любят сниматься?

— В смысле — увидите, — сказала Саина Егоровна и ушла, прижимая к груди свою клеёнчатую тетрадь, как школьница — дневник.

* * *

Остаток дня я проспал: шесть часов разницы с Петербургом лежали на мне, как мокрое одеяло. Проснулся в сумерках, которые здесь начинаются в четвёртом часу. За окном в тумане стояли три рыжих шара — фонари. Больше ничего.

Я проверил технику. Две камеры, четыре объектива, девять аккумуляторов, вспышка. Часы в обеих камерах показывали петербургское время. Перевести их — дело двух минут, но я никогда этого не делаю: в поездках легко запутаться, а потом, разбирая архив, я просто прибавляю разницу. В блокноте я записал: «Якутск = камера + 6 часов». Савва Иннокентьевич потом сказал, что это была единственная разумная запись во всём моём блокноте. А ещё позже эта запись едва не сбила нас с толку, но об этом в своё время.

Вечером я спустился в гостиничную столовую. Там сидел один-единственный посетитель: пожилой, грузный мужчина с седым ёжиком, в тельняшке под расстёгнутой форменной курткой. Перед ним стояла тарелка с чем-то белым, нарезанным тонкой стружкой, и рюмка.

— Присаживайтесь, — сказал он, не дожидаясь, пока я

выберу столик. — Вы фотограф из Ленинграда. Мне Саина доложила. Брагин Леонид Петрович, капитан «Амги». Строганину пробовали?

— Нет.

— Тогда вы ещё не в Якутии. Это чир. Берёте пальцами, пока не растаяла, — в соль с перцем — и сразу в рот. Не жевать. Она сама.

Стружка была ледяная, розоватая на просвет. Она действительно растаяла сама — сначала холодом, потом жиром, потом чем-то сладковатым, речным.

— Ну? — спросил капитан.

— Ничего подобного не ел.

— То-то. — Он был доволен, как будто сам поймал этого чира. — Значит, мой буксир будете снимать. Вы уж его красиво снимите. Он заслужил. Семьдесят девятого года постройки, тридцать пять навигаций. Я на нём с девяносто первого. Сначала старпомом, с девяносто восьмого — капитаном.

— А сейчас он почему в ремонте?

Брагин поморщился.

— На винт намотали. В октябре, когда в затон заходили. Трос какой-то или сеть, чёрт его знает — в воде уже шуга шла, ничего не видно. Удар, вибрация, вал повело. Еле доползли до стенки. Теперь вот вал менять, насадку править. Без выморозки туда не подлезешь, дока на Лене под такое судно нет. — Он повертел рюмку. — Обидно. Последний

рейс навигации, сто метров до места.

Я кивнул. Тогда это была просто деталь — одна из сотни, которые я складывал в голову про запас, для подписей к фотографиям. Трос на винте. Октябрь. Сто метров до места.

Если бы я умел читать лёд, как Савва Иннокентьевич, я бы уже в тот вечер насторожился. Но я умел только смотреть в видоискатель.

— А правда, что на «Амге» когда-то капитан замёрз? — спросил я. Это мне успела рассказать дежурная, пока искала ключ: в Жатае приезжим первым делом рассказывают про покойников.

Брагин поставил рюмку. Аккуратно, без стука.

— Правда, — сказал он. — Девяносто восьмой год. Сергей Вадимыч Рогов. Хороший был капитан. Пил только.

И больше в тот вечер про «Амгу» не говорил. Рассказывал про ледоход, про то, как в две тысячи первом топило Ленск, про северный завоз. Я слушал вполуха и думал, что завтра наконец увижу эту самую майну, которую словами не объясняют.

За окном шуршало. Это дышал посёлок.

ГЛАВА 2
Здесь лиц не бывает

Инструктаж по технике безопасности занял сорок минут и состоял из одной фразы, повторённой разными словами: под лёд не ходить.

— Лёд в затоне сейчас метр десять, метр двадцать, — говорила Саина Егоровна, ведя пальцем по схеме на стене. Схема изображала затон сверху: длинный, изогнутый, как стручок, залив, и в нём — прямоугольнички судов, стоящих борт к борту, по три, по пять, по восемь в ряд. — По нему ездят грузовики, это не страшно. Страшно в майне. В майне вы стоите ниже уровня реки. Под ногами у вас двадцать сантиметров льда, а под ними — Лена, которая хочет подняться туда, где ей положено быть. Она давит снизу. Всё время. Пока лёд толстый — он держит. Если кто-то ошибётся на ладонь — не держит.

— И что тогда?

— Тогда майну топит. Вода приходит быстро. Сначала фонтан, потом пол ломается кусками, потом пар.

— Пар?

— Вода — ноль градусов. Воздух — минус пятьдесят. Для воздуха это кипяток. Пар встаёт столбом, ничего не видно, люди лезут наверх на ощупь. Поэтому лестниц в майне все-

гда две, по разным бортам, и вы запомните, где обе. Прежде чем поднять камеру — посмотрите, где лестницы.

Я расписался в журнале. В графе «должность» написал «фотокорреспондент», и Саина Егоровна, подумав, приписала сверху карандашом: «постор.» — посторонний.

* * *

Рассвело к десяти. Туман над затоном оказался реже, чем в городе, — здесь его делали только котельная да несколько труб, — и когда мы вышли на лёд, я остановился, хотя Мичил учил меня не стоять.

Передо мной был флот.

Я не знаю, как это описать человеку, который не видел. Представьте город, в котором вместо домов — корабли. Танкеры, сухогрузы, буксиры, плавучие краны, пассажирские теплоходы с тремя палубами, баржи — сотня с лишним корпусов, вмёрзших в белое поле. И всё это покрыто инеем. Не припорошено, а именно покрыто, как мехом: каждый леер, каждая антенна, каждый трос обросли белой шерстью в палец толщиной. Названий не прочесть. Окна рубок слепые. Ни дыма, ни звука, ни человека. Город, из которого все ушли, а холод остался сторожить.

— Сколько их тут?

— Сто тридцать две единицы, — сказала Саина Егоровна. — Под выморозку в эту зиму идёт двадцать шесть. Идёмте, не стойте.

Мы шли по накатанной колее между корпусами. Борта

поднимались над нами ржавыми стенами. От железа тянуло холодом — не так, как от воздуха, а отдельно, плотнее, будто от открытой морозилки. Я снял рукавицу, чтобы поправить ремень камеры, и нечаянно коснулся борта костяшками пальцев. Кожа прилипла. Я дёрнул руку — и оставил на обшивке буксира «Амга» кусочек себя.

— Я же говорила, — сказала Саина Егоровна, не оборачиваясь.

«Амга» стояла крайней в ряду из четырёх судов, кормой к середине затона. Невысокий, коренастый буксир с широкой рубкой и тупым носом-упором, которым он толкает баржи. А за кормой у него во льду была яма.

Нет. Не яма. Я понял, почему это не объясняют словами.

Это было похоже на раскоп — как если бы археологи откапывали корабль из прозрачной горной породы. Прямоугольная выемка, пять метров на шесть, с отвесными стенами, уходила вниз почти на три метра. Стены были голубые. Не белые, не серые — голубые, с зеленью в глубине, и по ним шли горизонтальные полосы, как годовые кольца на спиле: каждый слой, который сняли и дали нарасти. Солнце, едва поднявшееся над островом, пробивало лёд сбоку, и стены светились изнутри.

А из дальней стены, из-под нависающей кормы, выступало то, что обычно никто не видит: подводная часть корабля. Рыжее от сурика брюхо, сходящееся к килю. Перо руля — стальная плита в рост человека. И винт — четыре бронзо-

вые лопасти, каждая с дверь от шкафа, в кольце насадки, похожей на отрезок огромной трубы. Верхняя половина винта была уже на воздухе. Нижняя уходила в ледяной пол.

Внизу, на дне, двигались люди. Маленькие. Редактор была права насчёт картинки.

— Вот это майна, — сказала Саина Егоровна. — Спускайтесь спиной вперёд, держитесь за обе тетивы. Лестницы — вон та и вон та. Запомнили?

* * *

Первое, что я услышал внизу, — звон. Лёд под кайлом не хрустит и не трещит, он звенит, высоко и чисто, как толстое стекло. Второе — бензопила. Третье — человеческий голос, который сказал:

— О, Питер приехал. Питер, ты пешню в руках держал?

Говоривший был в оранжевой каске, натянутой поверх вязаного подшлемника, в сером казённом костюме, точно таком же, как на мне, и в маске. Вместо лица у него был овал инея: брови белые, ресницы белые, вязаная маска вокруг рта обросла ледяной коркой, из которой шёл пар.

— Не держал, — сказал я.

— А зря. Душевный инструмент.

— Степан, не цепляй человека, — сказал другой голос, низкий и спокойный.

Этот был в белой каске. Он подошёл, снял рукавицу — на секунду, только чтобы пожать мне руку, — и я увидел ладонь, широкую и твёрдую, как разделочная доска.

— Аммосов. Бригадир. Зовите Прокопий Гаврильевич, а выговорить не сможете — дядя Проня, я не обижаюсь. Ходите где хотите, снимайте что хотите. Под пилу не лезьте, под корму без меня не лезьте, на пол не прыгайте. Остальное можно.

— Можно портреты? Лица?

Иней вокруг его глаз собрался морщинами. Он смеялся.

— Лица… Вы сколько лиц тут видите?

Я огляделся. В майне работало пятеро — шестой, как я потом узнал, был там, где его не видно. Пять серо-синих стёганых фигур с отражающей полосой на спине. Пять белых овалов вместо лиц. Одинаковые рукавицы, одинаковые унты, одинаковая, чуть враскачку, походка людей, на которых надето по пятнадцать килограммов.

— Ни одного, — признался я.

— Вот. Здесь лиц не бывает. Здесь бывают каски. Я — белая. Стёпа Корякин — оранжевая, с наклейкой, у него там череп, детский сад. Айтал Неустроев — красная, вон, с пилой. Улан — зелёная. Жёлтая — Рогов, он сейчас в норе. А без каски, в собачьей шапке, — это Михалыч, ему Саина Егоровна седьмой акт пишет, а ему хоть бы что.

— Мне шестьдесят один год, — сказал человек в собачьей шапке, не разгибаясь. — Мне каска уже ни к чему. Мне уже, что упадёт, то и ладно.

— А если вы касками поменяетесь? — спросил я. — Я же вас перепутаю.

— Все путают, — сказал Степан. — Меня жена на проходной третий год по каске узнаёт. Я один раз Айталову надел — она ему авоську с обедом отдала.

Я засмеялся. Я вообще много смеялся в тот первый день. Потом, когда всё кончилось, Савва Иннокентьевич попросил меня слово в слово вспомнить этот разговор. Я вспомнил. Он кивнул и сказал: «Вот видите. Вам всё сообщили в первые пять минут. Вы просто решили, что это шутка».

* * *

К полудню я уже кое-что понимал.

Выморозка — это спор с рекой о скорости. Река хочет держать корабль в воде. Мороз хочет превратить воду в лёд. Человек встаёт между ними и помогает морозу.

Делается это так. Со льда вокруг кормы счищают снег — снег греет, под ним лёд растёт втрое медленнее. Потом лёд сверлят тонким буром и замеряют толщину. Допустим, шестьдесят сантиметров. Сорок снимают: Айтал пропиливает бензопилой с удлинённой шиной сетку надрезов, как на шоколадной плитке, остальные кайлами выбивают кубы и лопатами выбрасывают их наверх. Остаётся пол в двадцать сантиметров. Тонкий, зато голый: мороз теперь достаёт до воды напрямую, и пол начинает расти вниз. По четыре сантиметра в сутки в хорошую стужу. Через неделю под ногами снова полметра — и можно снимать следующий слой.

Так, ступенька за ступенькой, с ноября, они ушли на два девяносто. К февралю должны были дойти до трёх с полови-

ной, ниже киля, чтобы слесари могли вытащить вал.

— А если бур пробьёт до воды? — спросил я.

— Обязательно пробьёт, на то он и бур, — сказал Аммосов. — Нам же надо знать, сколько до воды. Дырка с палец. Из неё бьёт струйка — вон, видите, на стене сосулька вбок растёт? Это от вчерашнего замера. Дырку затыкаем чопом. — Он показал мне деревянный колышек, обструганный на конус. — Забил — через минуту схватилось намертво. Чопов в полу за зиму сотни.

— А если чоп выбить?

Он посмотрел на меня долго. Из-под белой каски, из инея, глядели узкие, очень спокойные глаза.

— Зачем?

Я заметил, что в этих краях на глупые вопросы отвечают одинаково.

— У железа, — продолжал он, помолчав, — отдельный разговор. Вы борт трогали? Трогали, вижу. Корабль пустой, выстуженный насквозь, в трюме те же пятьдесят. Железо холод тянет лучше всякого льда. Поэтому вдоль корпуса лёд всегда толще, чем в чистом поле, и растёт он не сверху вниз, а от обшивки вбок — рубашкой. В поле метр, а под скулой у борта — полтора, под кормой и все два. Ледяная рубашка. Мы её с корабля снимаем, как с ребёнка: сперва с плеч, потом ниже.

— То есть под кормой лёд был ещё до вас?

— Под кормой он с ноября. Мы только добираемся.

Я сфотографировал его руку с чопом на фоне голубой стены. Хороший вышел кадр. Он потом был в деле — том номер два, лист сто четырнадцатый.

* * *

Шестого я увидел перед самым обедом.

Под нависающей кормой, справа от винта, в ледяной стене чернело отверстие — лаз, в который можно было войти только на четвереньках. Оттуда доносились частые звонкие удары. Потом они прекратились, из лаза показались подошвы унтов, потом спина с отражающей полосой, потом жёлтая каска.

Человек выпрямился. Он был весь белый — не только лицо, весь, от каски до колен, в ледяной крошке и инее, как статуя, которую забыли раскрасить. Но одно отличие я заметил сразу: под вязаной маской у него белела ещё и марлевая повязка, закрывавшая нос и скулы. Края её торчали у висков.

Я поднял камеру.

Он поднял руку. Не закрылся — просто выставил ладонь в рукавице между собой и объективом, спокойно, как регулировщик.

— Не надо, — сказал он. Голос был сиплый, сорванный, почти шёпот.

— Я только общий план…

— Не надо.

— Питер, ты его не снимай, — весело сказал Степан. — Вадик у нас в розыске. Его приставы ищут. Троих детей на-

строгал в трёх городах, от алиментов бегает. Увидят в журнале — приедут с наручниками.

— Двоих, — просипел человек в жёлтой каске. — В двух.

— А повязка?

— Нос отморозил, — ответил за него Степан. — На Крещение… тьфу, на Рождество. В выходные на рыбалку поехал, герой, вернулся — пол-лица белые. Теперь мажется какой-то дрянью и ходит как мумия. И голос там же оставил.

Человек в жёлтой каске не возразил. Он повернулся к нам спиной, взял пешню — лёгкий лом на деревянной ручке — и пошёл к лестнице. Пешню он нёс в левой руке.

Вот и всё моё знакомство с Вадимом Роговым: ладонь в рукавице, марля у висков, сиплое «не надо». Я видел его ещё два дня. Я сделал за эти дни тысячу девятьсот кадров. Его лица нет ни на одном.

Тогда я подумал: ну что ж, алименты. Бывает.

ГЛАВА 3
Нора

Обедали в тепляке — вагончике на полозьях, стоявшем на льду в тридцати шагах от майны. Внутри гудела печка-буржуйка, на проволоке сушились рукавицы, и пахло так, как пахнет везде, где мужчины работают на морозе: солярой, мокрой шерстью и чаем.

Здесь лица наконец появились.

Степан Корякин, оранжевая каска, оказался рыжеватым, веснушчатым, с перебитым носом и золотым зубом — он говорил без остановки, даже когда жевал. Айтал Неустроев, красная каска, — совсем молодой якут с шеей борца и застенчивой улыбкой; за весь обед он произнёс два слова, оба — «передай хлеб». Улан, зелёная каска, приехал из Оша четыре года назад, прижился и на вопрос, не холодно ли ему после Киргизии, отвечал, что холодно ему было первые десять минут, а потом он перестал чувствовать и до сих пор не чувствует. Михалыч, собачья шапка, — сухой старик с лицом, изрезанным так, словно по нему тоже прошлись бензопилой с выломанным зубом; до пенсии он тридцать лет ходил механиком, знал каждое судно в затоне по имени и по болезням и на выморозку нанимался, как он выразился, «чтобы дома не сдохнуть».

Бригадир Аммосов без каски оказался седым, коротко стриженным, с тёмным неподвижным лицом, на котором жили одни глаза.

А Рогов сел в углу у двери, к нам спиной. Там было темнее и холоднее всего — от двери дуло. Маску он закатал на лоб, как шапочку, но повязку не снял, только оттянул снизу, чтобы пить чай. Я видел стриженый затылок, край марли за ухом и левую руку с кружкой.

— Он всегда так? — тихо спросил я Степана.

— С праздников. До Нового года сидел с нами, как человек. Нормальный мужик, только молчун. А как обморозился — всё, отсел. Мазь, говорит, воняет, не хочу вам аппетит портить. — Степан пожал плечами. — Мне-то что. Мне больше достанется.

— А он давно в бригаде?

— С первого декабря. Из Ленска приехал. Говорит, по молодости в Пеледуе на выморозке работал, там тоже затон. Дядя Проня его как увидел с пешнёй — сразу взял.

— Пешню держит правильно, — сказал Аммосов, который, оказывается, всё слышал. — По-пеледуйски, с подворотом. У нас так не учат. У нас бьют прямо, а там — с вывертом кисти, чтобы скол шёл лепестком. Это с детства надо, взрослого не переучишь. — Он помолчал. — И левша. В норе левша — золото. Под правый борт правше не размахнуться, а ему в самый раз.

Спина у двери не шевельнулась.

* * *

Про нору мне объяснили после обеда.

Когда майна доходит до нужной глубины, остаётся самое тонкое: освободить то, что прячется под самой кормой. Там, где днище сходится к ахтерштевню, между корпусом, рулём и насадкой, — место тесное, как подмышка. Бензопилой туда не влезть, втроём не развернуться. Туда бьют нору: один человек, лёжа на боку или на спине, пешнёй выбирает лёд над собой и перед собой, по кусочку, и выгребает ногами наружу.

— Самая поганая работа на выморозке, — сказал Степан с удовольствием человека, которому она не досталась. — Лежишь, как шахтёр, над тобой пятьсот тонн железа, под тобой Лена, в рожу крошка летит. А Вадик сам вызвался. С двадцатых чисел декабря оттуда не вылезает. Мы ему говорим: давай меняться, по неделе. Нет, говорит, я начал, я и кончу. Упёртый.

— Может, ему там нравится.

— Может, ему там от нас не воняет, — сказал Степан.

Я попросил разрешения заглянуть. Аммосов кивнул, но пошёл со мной сам.

У лаза пришлось встать на колени. Внутри было голубое свечение — лёд пропускал дневной свет сверху, с боков, отовсюду, и только потолок был тёмный: рыжая обшивка днища в белых наплывах. Нора уходила вправо и вглубь метра на три. В дальнем конце лежал на боку человек в жёлтой каске

и коротко, с тем самым вывертом кисти, бил пешнёй вверх и вперёд. При каждом ударе от стены отлетал прозрачный лепесток.

Стены норы были не такие, как в майне. Там — гладкие срезы от пилы, сквозь которые видно на метр вглубь. Здесь — сплошь изрубленные, в белых звёздах от ударов, матовые, как стекло в ванной.

— Почему тут лёд мутный? — спросил я.

— Он не мутный. Он битый. Под ним — чистый, — сказал Аммосов. — Рубашка. Тот самый, что от железа рос. Самый крепкий лёд, какой бывает.

Рогов перестал бить. Не обернулся — просто замер, спиной к нам, и ждал, пока мы уйдём.

Я сделал три кадра: тоннель, свет, подошвы унтов. Лица там нет.

— Прокопий Гаврильевич, — спросил я, когда мы выбрались, — а Саина Егоровна говорила, с лицами у вас трудно, не обижайтесь на людей. Это она про него?

— Это она про всех, — сказал бригадир. — На морозе человек лицо бережёт. Не для вас. Для себя.

* * *

Ближе к вечеру случилось то, из-за чего я потом не раз мысленно просил у покойного прощения. Или не у покойного. Тут, как вы увидите, всё сложно.

Рогов вылез из норы — передохнуть, перекурить. Курил он странно: не снимая маски, просовывая сигарету в про-

резь. Стоял у стены, отвернувшись, под самым рулём. Низкое солнце било вдоль майны, и иней на его ресницах горел, как стекловата.

У меня на второй камере стоял длинный объектив. Я был в десяти метрах, за спиной у Айтала с его пилой, и Рогов меня не видел. Я поднял камеру от живота, не глядя в видоискатель, и нажал три раза.

Это нехорошо. Человек просил не снимать. Но я фотограф, а это были ресницы, на каждой из которых сидело по ледяной игле, и глаз между ними — и свет был такой, какого ждут по полгода.

Он услышал затвор. Не знаю как — рядом ревела пила. Повернул голову, и я увидел, что глаза у него светлые. Очень светлые, серые, почти белые, с тёмным ободком по краю радужки — как у ездовой лайки.

Он подошёл. Не быстро.

— Сотри, — сказал он своим шёпотом.

— Там только глаза. Лица не видно, вы же в маске.

— Сотри.

Я показал ему экранчик, нажал корзину, нажал «да». Кадр исчез. Он постоял ещё секунду, кивнул и ушёл в нору.

Кадров было три. Я стёр один.

* * *

В пятом часу, когда стемнело и Айтал заглушил пилу, пришла Саина Егоровна со своей клеёнчатой тетрадью. Аммосов взял бур — тонкий, длинный, на ручной дрели — и

просверлил пол в четырёх местах: по углам майны и у самого лаза в нору. Из каждой дырки вставала струйка воды толщиной с карандаш, била на ладонь вверх и тут же обрастала ледяным воротником. Бригадир опускал в дырку проволочный щуп с крючком на конце, цеплял им нижнюю кромку льда, вытягивал, прикладывал к рейке.

— Двадцать три. Двадцать два. Двадцать два. У норы — двадцать четыре.

Саина Егоровна записывала. Степан шёл следом с киянкой и забивал чопы. Я снимал: щуп, рейка, цифра, рука с карандашом. На одном кадре цифра «22» видна так чётко, что её потом увеличили и подшили к делу.

— Это много или мало? — спросил я.

— Это норма, — сказала Саина Егоровна. — Двадцать держит бригаду с инструментом. Пятнадцать — держит, но я ухожу в отпуск. Десять — все наверх. Завтра не трогаем, пусть растёт. Послезавтра, в среду, будет двадцать восемь — тридцать, снимем десять.

— А бывало, что топило?

Наступила короткая тишина. Потом Михалыч сказал из-под своей собачьей шапки:

— Бывало. В декабре у соседей, на «Ленанефти». Молодой дурак чоп ногой сбил и не заметил. Через час пол подмыло, и — ух. Четыре минуты. Никто не утоп, только пилу утопили. Потом три недели долбили заново.

— А на что это похоже?

— На баню, — сказал Михалыч. — Пар стеной. Руку свою не видишь. Потом, как осядет, — в майне вода стоит вровень с рекой, чёрная, и от неё дым. К утру сверху корка в ладонь. А через неделю — как и не было ямы. Только лёд на том месте другой.

— Какой?

— Белый. Быстрый лёд всегда белый, в пузырях, слоёный, как пирог. Его от настоящего и слепой отличит. — Он сплюнул в сторону. — Настоящий — он чёрный. Он медленно растёт, вода в нём успевает успокоиться.

Аммосов собирал бур. Рогов стоял поодаль, у лаза, лицом к стене, и стряхивал с рукавов крошку.

— Михалыч, — вдруг сказал он сиплым своим шёпотом, не оборачиваясь. — А «Амгу» топило когда-нибудь?

Старик дёрнулся. Я это видел — именно дёрнулся, плечом, как лошадь от слепня.

— Не топило, — сказал он. — Чего ей. Счастливое судно.

— Счастливое, — согласился шёпот.

И всё. Рогов нагнулся и ушёл в свою нору — забрать пешню. Михалыч смотрел ему вслед, и рукавица с киянкой у него мелко ходила.

* * *

Вечером Степан пошёл провожать меня до гостиницы: ему было по дороге, а мне одному в тумане идти не советовали.

— Чего это Михалыч так? — спросил я.

— А ты не знаешь? Ну да, откуда тебе. — Степан оглянулся, хотя в десяти шагах всё равно ничего не было видно. — У «Амги» в девяносто восьмом капитан в рубке замёрз. Рогов. Сергей Вадимыч.

— Я слышал. Погодите… Рогов?

— Ну. А этот — Вадим Сергеич. Сын. Он, как пришёл устраиваться, Михалыч его первый спросил: Сергея Вадимыча сын? Тот говорит — сын. И Михалыч стал серый, как штаны пожарника. Он же у того Рогова механиком ходил. Они в ту зиму вдвоём на судне зимовали, сторожили.

— И что?

— А ничего. Замёрз человек по пьяни, дело закрыли. Только Михалыч с тех пор, как сына увидал, сам не свой. То руки трясутся, то вон сегодня. А Вадик — ты заметил? — нет-нет да и спросит у него что-нибудь. Про «Амгу». Про ту зиму. Тихонько так, шёпотом. И смотрит.

— Думаете, приехал выяснять?

— Я ничего не думаю, — сказал Степан. — Я лёд колю. Но сам посуди: мужик из Ленска, сорок один год, двое детей где-то. И вдруг срывается, едет в Жатай и нанимается на ту самую коробку, где батя кончился. И лезет под неё в нору, откуда его не выгонишь. Это как называется?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю. — Он сплюнул, и плевок щёлкнул об лёд уже твёрдым. — Только я бы на месте Михалыча в майну вперёд него спускался. А не после.

Мы дошли до фонаря у гостиницы. Степан хлопнул меня по плечу и пропал в тумане — оранжевая каска погасла в трёх шагах, как окурок в снегу.

Я поднялся в номер, положил камеры в пакеты отходить и сел записывать. В блокноте за тот день есть фраза, которую я подчеркнул дважды: «Двадцать два сантиметра. Сын капитана. Глаза как у лайки».

Мне казалось, я записываю подписи к будущим фотографиям. На самом деле я, сам того не зная, переписал три главные улики — и ни одну не понял.

ГЛАВА 4
Человек, который слушал пол

Во вторник майну на «Амге» не трогали — ей полагалось расти. Бригада ушла на соседний ряд, к сухогрузу, у которого только начинали носовую выморозку. Выморозчики вообще работают вкруговую: сняли слой здесь — перешли туда, а тем временем мороз делает за них половину дела.

В майне остался один Рогов. Нора пола не утончает, сказал Аммосов, пусть бьёт.

И я остался. Мне хотелось снять пустую майну на рассвете, когда лёд из серого делается сиреневым, потом розовым, а потом, минут на десять, — цвета разбавленного молока с синькой. Я ходил по дну со штативом, из норы летел ровный звон, и было так хорошо и тихо, как бывает только в очень красивых и очень опасных местах.

Около одиннадцати сверху посыпалась ледяная крошка, и по лестнице начал спускаться тулуп.

Именно так: сначала я увидел тулуп — огромный, овчинный, рыжий, до пят, какие носили ямщики на картинах передвижников. Потом — оленью шапку с ушами до пояса. Потом из тулупа вынулась длинная рука и приняла у кого-то наверху алюминиевую трубу, похожую на тубус для чертежей, только толщиной с ногу. Потом — вторую. Потом —

деревянный ящик.

Тулуп достиг дна, повернулся, и между шапкой и воротником я обнаружил нос. Нос был выдающийся: длинный, тонкий, с горбинкой, совершенно не якутский и совершенно не обмороженный. По обе стороны от него сидели узкие чёрные глаза, которые смотрели на меня так, как смотрят на табуретку, оказавшуюся посреди коридора.

— Вы стоите на девяносто восьмом годе, — сказал нос.

— Простите?

— Шаг влево. Нет, от меня влево. Благодарю.

Он опустился на колени — тулуп лёг вокруг него шатром, — стянул шапку, под которой оказалась вторая, вязаная, сдвинул её с одного уха и приложил это ухо к полу. К голому льду. При минус пятидесяти.

Я ждал, что он закричит. Он лежал и слушал. Секунд двадцать.

— Двадцать пять, — сказал он, не поднимаясь. — К вечеру будет двадцать шесть с половиной. Течение слабое, справа налево, под кормой завихряется. Кто-то в норе работает левой рукой.

— Откуда вы…

— Вода под тонким льдом поёт выше, чем под толстым. А удар левши приходит на долю секунды позже в правое ухо. — Он сел на пятки и наконец посмотрел на меня как на человека. — Шучу. Про левшу мне Саина Егоровна сказала. А толщину я действительно слышу, с погрешностью в сан-

тиметр. Тридцать лет практики. Вы фотограф. Вам сказали, что я сумасшедший?

— Мне про вас вообще не говорили.

— Странно. Обычно предупреждают.

Сверху спускалась Саина Егоровна, прижимая локтем тетрадь.

— Эверстов Савва Иннокентьевич, — сказала она тоном человека, зачитывающего опись имущества. — Мерзлотовед. Кандидат наук. Завод платит ему за заключение по состоянию льда в затоне. И ещё немножко — за то, чтобы он не разговаривал с рабочими.

— Я не разговариваю с рабочими, — возразил Эверстов. — Я разговариваю со льдом. Рабочие подслушивают.

* * *

Следующие два часа я снимал, как он работает, и это были лучшие кадры за всю поездку.

В алюминиевых трубах оказались керновые буры — полые свёрла, которые вырезают из льда цилиндр толщиной в руку. Эверстов брал керны не из пола — пол, сказал он, трогать не будем, пол сегодня занят, он растёт, — а из стен, горизонтально. Один — из открытой, «полевой» стены майны. Второй — из стены у самого корпуса, в полуметре от обшивки.

Цилиндры он вынимал бережно, двумя руками в нитяных перчатках, поднимал против солнца и поворачивал, как ювелир — камень.

— Подойдите. Смотрите сюда. Это лёд из чистого поля. Видите — он как пучок карандашей? Кристаллы стоят вертикально, тесно, один к одному. Он рос сверху вниз, от мороза к воде, спокойно, по сантиметру в день. Вот тёмная полоска — оттепель, двадцатое ноября, минус двадцать два, рост замедлился, пузырьки успели выйти. Вот светлая — декабрьские пятьдесят. Вот здесь слой сняли, и пошёл новый рост, видите шов? Это не лёд. Это бухгалтерская книга. С датами.

— А второй?

Он взял второй керн, из-под борта, и я увидел разницу сам, без подсказки. «Карандаши» в нём лежали. Горизонтально, поперёк цилиндра, все в одну сторону — как причёсанные.

— Вот, — сказал Эверстов с нежностью. — Рубашка. Этот лёд рос не от неба. Он рос от железа. Холод шёл к нему через обшивку, сбоку, и кристаллы легли так, как шёл холод, — перпендикулярно борту. Лёд всегда растёт навстречу теплу, молодой человек, и всегда записывает, откуда пришёл мороз. Покажите мне любой кусок льда из этого затона размером с кулак — и я скажу вам, где он родился, когда и сколько ему было лет, когда его убили.

— Лёд убивают?

— Бензопилой. Ежедневно. Я не в претензии, это их работа.

Он упаковал керны в тубусы, надписал их химическим ка-

рандашом и только тогда посмотрел в сторону кормы — туда, откуда всё это время шёл ровный, частый звон.

— Мне нужен третий. Из норы. Из-под самого дейдвуда, где рубашка старше всего. Саина Егоровна, попросите вашего левшу на десять минут выйти.

Саина Егоровна подошла к лазу, нагнулась.

— Рогов! Вадим Сергеевич! Выйдите, пожалуйста, учёный керн возьмёт!

Звон прекратился. Ответа не было.

— Рогов!

— Не могу, — донеслось из норы. Сиплый шёпот, усиленный льдом, прозвучал как из колодца. — Свод подрубил. Держу. Отпущу — ляжет. Час ещё.

— Что значит «держу»? — вполголоса спросил я.

— Подрубил глыбу над собой и подпирает, пока не обколет края, — сказала Саина Егоровна. — Бывает. Савва Иннокентьевич, через час.

— Через час у меня совет в институте, где меня будут в очередной раз не восстанавливать, — сказал Эверстов. — Мне нельзя опаздывать, я должен насладиться.

Он подошёл к лазу сам. Встал на колени, заглянул. Я стоял у него за плечом и видел то же, что вчера: голубой свет, изрубленные матовые стены и в дальнем конце — спину с отражающей полосой и затылок жёлтой каски. Человек лежал на боку, лицом к стене, упираясь в лёд над собой обеими руками. Не обернулся.

Эверстов смотрел долго. Потом сказал — негромко, но в норе, я думаю, было слышно каждое слово:

— Стену вы бьёте красиво. Пеледуйская школа, лепестком. Я такого лет двадцать пять не видел.

Спина не шевельнулась.

— А вот зачем вы её всю избили — не пойму. Нору ведут вперёд, а у вас и бока в звёздах, и потолок. Сквозь такой лёд ничего не разглядеть. Жалко. Самая старая рубашка в затоне — и вся в синяках.

— Крошится, — сказал шёпот. — Трещиноватый.

— Лёд у железа не бывает трещиноватый, — ответил Эверстов. — Ну да вам лежать, вам виднее.

Он поднялся, отряхнул колени и больше к норе не подходил.

* * *

Наверху Эверстов погрузил ящик и тубусы в машину. Машина у него была под стать тулупу: серый УАЗ-«буханка», зашитый изнутри войлоком, с печной трубой, выведенной через крышу.

— У вас там печка?!

— Разумеется. Якутский автомобиль должен отапливаться дровами, всё остальное — от лукавого. Вы до которого часа снимаете?

— До темноты.

— В семь я буду проезжать мимо гостиницы. Если хотите увидеть, зачем мне всё это, — он кивнул на тубусы, — стойте

на крыльце. Не дольше двух минут: дольше вы не простоите. Как ваше отчество?

— Андреевич.

— Не буду запоминать. Глеб — достаточно.

И уехал, оставив в тумане запах берёзового дыма.

Рогов вышел из норы минут через двадцать после этого — я заметил время, потому что как раз менял аккумулятор. Постоял у лаза, глядя вверх, на кромку майны, где только что был рыжий тулуп. Потом, не дожидаясь конца смены, собрал инструмент, сказал Саине Егоровне что-то про перевязку и поликлинику и ушёл на маршрутку. Она отметила в тетради: «Рогов — с 14:00, по здоровью».

Я не видел, как он уходил по льду. Я снимал сосульку, которая росла из стены вбок.

* * *

В семь я стоял на крыльце. В семь ноль одну из тумана выплыла «буханка».

Дорога до Якутска заняла полчаса, и за эти полчаса я узнал о Савве Иннокентьевиче Эверстове больше, чем о некоторых своих друзьях за десять лет. Не потому, что он был откровенен. Он просто не считал нужным что-либо скрывать, как не скрывают погоду.

Ему было сорок девять. Отец — якут из Намского улуса, учитель физики; мать — ленинградка, приехавшая по распределению геологом и оставшаяся навсегда. Отсюда нос. Двадцать два года он проработал в Институте мерзлотоведе-

ния, откуда в две тысячи девятом был уволен — за то, что на учёном совете назвал доклад директора «гаданием на талой воде» и отказался извиняться. С тех пор жил заключениями: проверял ледовые переправы, фундаменты, зимники. Его звали, когда нужно было узнать, выдержит ли лёд сорокатонный тягач. Он ложился, слушал и говорил: выдержит до четверга.

— И ни разу не ошиблись?

— Один раз. В две тысячи третьем. Сказал: до четверга, а он простоял до субботы. Мне до сих пор стыдно.

Он жил в Залоге — старой части города, где ещё оставались двухэтажные деревянные дома, почерневшие и покосившиеся, как зубы у старика. Его дом стоял в глубине двора, на лиственничных сваях, и в сенях была крышка погреба, окованная железом.

— Булуус, — сказал Эверстов, поднимая её. — Якутский ледник. Мой дед держал в таком мясо и молоко. Я держу время. Спускайтесь, там тепло — минус восемь.

Это была библиотека.

Я говорю без всякого преувеличения. Комната, вырубленная в мёрзлой земле, три на пять, с потолком в инее и одной лампочкой в железной сетке. Вдоль стен — стеллажи. На стеллажах, в ячейках, как винные бутылки, лежали ледяные цилиндры в полиэтилене, сотни, и на каждой ячейке была табличка: «Лена, Табагинский мыс, 14.02.1991». «Вилюй, Сунтар, зимник, 03.03.1996». «Жатай, затон, 20.01.1998».

«Оз. Сайсары, прорубь, крещенская, 19.01.2004».

— Каждую зиму, — сказал Эверстов, — в каждом месте, где бываю. Двадцать четыре года. Здесь погода за четверть века, с точностью до дня. Оттепели, паводки, метели — всё записано. Когда институт говорит, что декабрь две тысячи шестого был аномально тёплым, я спускаюсь сюда, достаю керн и говорю: нет, коллеги, аномальным был только ваш термометр.

— А зачем это нужно?

— Ни зачем. Вы зачем фотографируете?

Я не нашёлся, что ответить.

Он положил сегодняшние керны в свободные ячейки. Потом достал из ящика две пластинки тёмного стекла, отпилил от «рубашечного» цилиндра ножовкой ломтик толщиной с монету, зажал его между пластинками и поднёс к лампе.

Ломтик вспыхнул. Я не знаю, как иначе сказать: бесцветный лёд между поляроидами оказался витражом — синим, оранжевым, малиновым, и каждый кристалл горел своим цветом, и все они лежали длинными полосами в одну сторону.

— Вот так лёд выглядит на самом деле, — сказал Эверстов. — Каждый кристалл — отдельная жизнь. Крупные, длинные, ровные — рос медленно, в покое. Мелкие, круглые, вперемешку с пузырями — замёрз быстро, в панике, как вода, которую плеснули на мороз. Спутать нельзя. Запомните это, Глеб, вы человек зрительный: медленный лёд — по-

лосами, быстрый — крупой.

Я запомнил. Не потому, что был умён. Потому, что это было красиво.

Наверху, в кухне, пока закипал чайник, я рассматривал стены. Карты, графики, якутский нож в берестяных ножнах. И фотография в рамке — чёрно-белая, любительская: двое парней в ватниках и ушанках стоят на льду широченной реки, между ними — двуручная пила, воткнутая в прорезь, а у ног — штабель ледяных кубов. Оба хохочут. Один длинный, носатый — его я узнал сразу. Второй пониже, плечистый, смуглый, шапка на затылке.

— Восемьдесят девятый год, — сказал Эверстов, не оборачиваясь от плиты. — Мы с Гаврилом пилим лёд для республиканской больницы. Стипендия была сорок рублей, а за куб платили полтинник. Он учился на медицинском, я на географическом. Он уже тогда умел бить лёд так, что мне было завидно, — у него отец был лёдчик.

— И кем он стал?

— Судебным медиком. Режет покойников. Говорит, что у нас с ним одно ремесло: я читаю, что случилось с водой, а он — что случилось с человеком. И оба имеем дело с холодным материалом. — Эверстов поставил передо мной кружку. — Он сейчас в отпуске. Вернётся — познакомлю. Он вам понравится. Он всем нравится.

Чай был с брусничным листом. За окном висел туман, в котором не было ничего — ни города, ни времени, ни беды.

До беды оставалось восемнадцать часов.

ГЛАВА 5
Строганина

В среду, четырнадцатого января, было минус пятьдесят два.

Я узнал это не по термометру — термометр на крыльце гостиницы кончался на пятидесяти, и синий столбик просто исчез в шарике. Я узнал это по тому, что плюнул, как учил Степан, и плевок стукнулся о крыльцо льдинкой.

Утром Аммосов сверлил пол. Двадцать шесть. Двадцать семь. Двадцать шесть. У норы — двадцать восемь. Саина Егоровна записала и сказала: после обеда снимаем восемь сантиметров, не больше.

До обеда чистили майну: скалывали наледь со стен, выбрасывали наверх вчерашнюю крошку, Айтал перебирал пилу. Рогов был в норе с восьми утра. Я слышал звон и два раза видел подошвы его унтов, когда он выгребал колотый лёд. Один раз он вышел — пронёс мимо меня ведро с крошкой, поднял наверх. Жёлтая каска, белая марля у висков, пешня в левой руке. На меня не посмотрел.

Я снимал Улана, который выбрасывал лёд лопатой с такой точностью, что каждый кусок ложился в одну и ту же кучу в четырёх метрах над его головой. Снимал Михалыча: он сидел на перевёрнутом ведре под самым винтом и курил, глядя

на лопасть, как на старую знакомую. Снимал винт — в тот день свет был боковой, жёсткий, и бронза, вылезшая из-под сурика, блестела, как самовар.

В двенадцать пошли в тепляк.

* * *

Степан принёс рыбу. Она лежала у него в рюкзаке, завёрнутая в газету, — здоровенный чир, килограмма на три, твёрдый, как полено.

— В честь Питера, — объявил он. — Чтоб знал, что такое настоящая строганина, а не то, что Брагин в столовой ест. Этот — с Индигирки, тесть прислал. Дядя Проня, нож твой.

Аммосов достал из-за голенища якутский нож — узкий, чуть изогнутый, с желобком по одной стороне клинка. Чира поставили торчком, головой на доску, бригадир одним движением снял с него шкуру, как чулок, и стал строгать: от хвоста к голове, длинной тонкой стружкой, которая завивалась кольцами и падала на газету. Улан насыпал в блюдце соли с чёрным перцем. Айтал нарезал хлеб. Михалыч, покряхтев, вынул из-за пазухи фляжку, посмотрел на бригадира, тот посмотрел на меня — гость, — вздохнул и кивнул: по глотку.

— Вадик! — крикнул Степан. — Иди, пока не растаяла!

Рогов стоял у двери, спиной, наливал себе чай из закопчённого чайника.

— Не буду, — сказал он.

— Да ты чего? Чир! Индигирский!

— Зубы, — сказал шёпот. — От мёрзлого ломит. И по-

вязку снимать — намажется.

— Ну хоть хлеба возьми.

— Не хочу. Дома поел.

Он выпил свой чай стоя, быстро, оттянув марлю снизу. Поставил кружку на полку. Опустил маску на лицо, надел каску.

— Пойду. Свод там недобитый, пока светло — доделаю.

— Обед же, — сказал Аммосов. — Сядь, отдохни. Через двадцать минут вместе пойдём.

— Я потихоньку.

Дверь открылась — в тепляк ввалился клуб белого пара, — и закрылась.

— Трудоголик, — сказал Степан с набитым ртом. — Орден ему. Питер, ты бери, бери, чего смотришь. Пальцами. В соль — и не жуй.

Я взял. Потом ещё. Это было в десять раз лучше, чем у Брагина. Мы съели чира до хребта — впятером, не считая меня. Я потом специально проверил по кадрам: на газете остались голова, шкура и позвоночник, и вокруг газеты сидят пять человек — Аммосов, Корякин, Неустроев, Улан Жолдошев и Зуев. Шестая кружка, пустая, стоит на полке у двери.

Запомните эту кружку. Савва Иннокентьевич говорит, что с неё, в сущности, всё и раскрылось. А я на неё даже резкость не наводил.

* * *

Без десяти час мы вышли. Мороз после тепляка ударил в лицо, как дверь.

Я пошёл не вниз, а вдоль кромки майны — хотел снять начало работы сверху, общим планом: как Айтал заводит пилу, как первая сетка надрезов ложится на пол. Встал у левой, дальней от тепляка лестницы, на куче выброшенного льда. Оттуда было видно всё: дно, обе лестницы, корму, винт, руль и чёрный лаз под правой скулой.

У лаза стоял Рогов. Спиной к нам, лицом к стене — он что-то делал с рукавицей, то ли вытряхивал, то ли поправлял. Жёлтая каска на фоне голубого льда. Я снял его — общим планом, со спины; он не мог ни увидеть, ни услышать.

Бригада спускалась по правой лестнице, ближней к тепляку. Первым — Аммосов, белая каска. За ним оранжевая, красная с пилой на плече, зелёная. Последним, держась за тетивы обеими руками, — собачья шапка.

Когда Аммосов ступил на дно, жёлтая каска, не оборачиваясь, нагнулась и ушла в лаз. Я видел, как втянулись подошвы.

— Вадим! — крикнул бригадир. — Выходи, пилить начинаем, крошка полетит!

Из норы донёсся звон. Раз. Другой. Третий — глуше.

Айтал поставил пилу на лёд и дёрнул стартёр. Она не завелась. Он дёрнул ещё раз.

И тут я услышал звук, которого раньше не слышал никогда. Не треск — скорее вздох. Долгий, низкий, со всхлипом,

как если бы очень большое животное выдохнуло под водой.

Из лаза ударило белым.

Сначала я подумал — снег. Кто-то изнутри швырнул охапку снега. Но белое не падало, оно росло: вываливалось из норы клубами, толстыми, как тесто из кастрюли, ползло по дну, лезло вверх по корме, заворачивалось вокруг руля. И внутри этого белого — у самого лаза — встал чёрный блестящий горб, и я понял, что это вода.

— Наверх! — Голос Аммосова я узнал только по тому, что он был один такой. — Все наверх! Бросай пилу!

Палец у меня уже лежал на спуске. Я не решал — снимать или не снимать, это делается само, спинным мозгом. Камера стояла на серийной съёмке, восемь кадров в секунду. Я нажал и держал.

Пар заполнил майну за несколько секунд. Я этого не преувеличиваю — у меня есть метки времени. На первом кадре серии видны пять фигур, корма и белый язык из-под скулы. На двадцатом — только три каски, торчащие из молока. На сороковом — ничего. Ровная белая шапка вровень с краями, и из неё, как мачты тонущего корабля, — концы двух лестниц.

Потом на лестницах появились люди.

Они вылезали из пара один за другим, тёмные, без лиц, без цвета, — пар обсел каски, и те сразу стали седыми. Кто-то упал на четвереньки на краю и пополз. Кто-то тащил кого-то за шиворот. Кто-то, выбравшись на моей, левой сторо-

не, шагнул в сторону от ямы и пропал в белом — пар уже перевалил через кромку и растекался по льду, проглатывая тепляк, корму соседнего сухогруза, меня.

Я перестал снимать, когда перестал видеть собственные руки.

Стало тепло. Это самое дикое, что я помню: стало тепло и сыро, как в предбаннике, и запахло рекой — тиной, рыбой, летом. Потом сырость на лице схватилась коркой.

— Считаемся! — кричал Аммосов где-то справа. — Корякин!

— Здесь!

— Неустроев!

— Тут я!

— Жолдошев!

— Есть!

— Зуев! Михалыч!

— Живой… ноги мокрые…

— Фотограф! Питер! Ладыгин!

— Здесь! — заорал я. — Наверху! Я не спускался!

— Рогов!

Тишина. Только шипело — так шипит сковорода, если плеснуть на неё водой, но в тысячу раз громче: это река встречалась с воздухом.

— Рогов! Вадим!

— Он в норе был, — сказал Степан. Голос у него стал тонкий, мальчишеский. — Дядя Проня. Он же в нору ушёл.

Я видел. Он в норе.

Дальше я помню кусками.

Помню, как Аммосов лез обратно по лестнице, в пар, и как Айтал держал его сзади за костюм обеими руками и молча тянул наверх, а бригадир бил его локтем и хрипел: пусти. Помню, что лестница уходила в воду уже на пятой перекладине сверху — и вода поднималась. Помню Улана, который стоял на коленях на краю и опускал в пар багор, и багор ни во что не упирался. Помню, как прибежала Саина Егоровна — без шапки, в одном свитере с оленями, — и как она остановилась, и как у неё побелели волосы: не от ужаса, от пара.

Через четыре минуты после вздоха — это тоже по меткам, я потом начал снимать снова — пар стал оседать.

Майны не было.

На её месте лежал прямоугольник чёрной воды, пять на шесть, вровень со льдом затона. От воды валил дым. В воде плавали ледяные обломки, лопата черенком вверх, чья-то рукавица и газета — та самая, с рыбьей головой: её, видно, сдуло из тепляка, когда распахнули дверь. Корма «Амги» стояла в воде по ватерлинию, как ей и было положено. Винта не было. Руля не было. Норы не было.

Река взяла своё обратно.

— Четыре минуты, — сказал Михалыч у меня за спиной. Он сидел на льду, вытянув ноги, и унты у него на глазах делались стеклянными. — Я ж говорил. Четыре минуты.

Никто ему не ответил. Все смотрели на воду. Она уже по-

дёргивалась по краям салом, и рукавица, медленно поворачиваясь, плыла к середине.

Рукавица была левая.

ГЛАВА 6
Семь часов пять минут

Спасатели приехали через двадцать пять минут. Сделать они ничего не могли и знали это ещё в дороге.

Человек в ледяной воде живёт минуты. Человек в ледяной воде, в ватном костюме, в тесном лазе под днищем корабля, откуда и посуху выбираются задом наперёд, — не живёт. Старший расчёта, усатый прапорщик, постоял над чёрным прямоугольником, потрогал воду багром — багор ушёл на всю длину — и сказал то, что все и так понимали:

— Водолаза вызовем. Только это уже не спасение. Это уже подъём.

Бригаду загнали в тепляк. Там было тесно, жарко и страшно тихо. Михалычу разрезали унты ножом — они смёрзлись с портянками в один стеклянный сапог — и растирали ему ступни спиртом из той самой фляжки. У Степана и Улана ноги были мокрые по щиколотку, у Айтала — по колено: он уходил последним, выталкивая перед собой старика. Аммосов сидел в углу, там, где обычно сидел Рогов, и смотрел на пустую кружку на полке.

— Двадцать шесть, — сказал он. Не нам — кружке. — Я утром мерил. Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать шесть. У норы двадцать восемь. Двадцать восемь не ломает-

ся.

— Проня, — сказал Михалыч.

— Тридцать два года морожу. Двадцать восемь не ломается.

— Он сам, Проня. Он же в пол бил. Ты слышал? Раз, два, а третий — глухо. Свод добивал, промахнулся — и в пол. А там, может, чоп старый или каверна. Много ли надо.

— Он не промахивался, — сказал бригадир. — Он лепестком бил.

И замолчал.

* * *

Следователь появился около трёх, когда уже начинало синеть. Он приехал из Якутска на белой «Ниве» с синей полосой, вылез, оглядел затон, корабли, толпу у воды — к тому времени сбежалось ползавода — и сразу пошёл не к майне, а в тепляк.

Он был моих лет или чуть старше, плотный, невысокий, с усталым умным лицом, и первое, что он сделал, войдя, — снял шапку и поздоровался с Аммосовым по-якутски, за руку, как здороваются со старшими.

— Слепцов Ньургун Васильевич, Следственный комитет. Смерть на производстве — это ко мне. Прокопий Гаврильевич, я вас помню, вы у моего отца на юбилее были. Расскажите, как было. Не торопитесь.

Они рассказывали по очереди, и рассказ у всех выходил одинаковый — короткий, как сама беда. Утренний замер.

Обед. Рогов ушёл раньше. Спустились. Он стоял у лаза, потом нырнул в нору. Три удара. Вздох. Пар.

— Кто видел, как он зашёл в нору?

— Я видел, — сказал Аммосов. — Я первый спустился. Он у лаза стоял, спиной. Я на лёд встал — он нагнулся и ушёл.

— Я видел, — сказал Степан. — Каска жёлтая. Он.

— И я, — сказал я. — Я сверху стоял, с другой стороны. Я даже снял.

Слепцов повернулся ко мне. Глаза у него были внимательные и не слишком приветливые: посторонний с камерой на месте происшествия — это всегда лишняя головная боль.

— Вы снимали? В момент… этого?

— До, во время и после. Серией.

— Покажите.

Я показал — на экранчике камеры, листая колёсиком. Он смотрел молча. На кадре, где жёлтая каска стоит у лаза, задержался. На кадре с белым языком из-под скулы — ещё дольше. Потом нажал кнопку информации, прочёл что-то, поднял на меня глаза — и я увидел, что приветливости в них не осталось совсем.

— Тут написано: семь часов пять минут. Четырнадцатое января, семь ноль пять утра.

— Да.

— В семь утра здесь ночь. В семь утра бригада ещё чай пьёт. А на снимке день. Как вы это объясните?

В тепляке стало ещё тише. Степан перестал шмыгать носом.

— Камера стоит по петербургскому времени, — сказал я. — Я её не переводил. Шесть часов разницы. Семь ноль пять плюс шесть — тринадцать ноль пять. У меня в блокноте записано, могу показать.

Слепцов посмотрел в блокнот. Посмотрел на камеру. Посмотрел на меня.

— Зачем вы так делаете?

— Привычка. Чтобы не путаться.

— Чтобы не путаться, — повторил он. — Ладно. Камеру я у вас не забираю, но карту памяти изыму. По акту. Копию вам сделают.

— У меня есть вторая карта, я дублирую. Забирайте эту.

Это была правда: вторая камера, с длинным объективом, писала на свою карту, а основная — сразу на две. Привычка человека, у которого однажды на Ямале умер единственный носитель с месячной работой. Следователь получил полный комплект. И у меня остался полный комплект. Знай он тогда, чем это кончится, — думаю, забрал бы оба.

Он записал мои данные, велел не уезжать из Жатая до особого разрешения и вышел на лёд — смотреть на воду, которая уже не была водой: за два часа её затянуло серой коркой, и в корке, как муха в янтаре, сидела газета с рыбьей головой.

* * *

Эверстов приехал в сумерках. Его вызвала Саина Егоров-

на. Она стояла у майны с самого начала — ей кто-то набросил на плечи тулуп, но шапку она так и не надела — и, когда из тумана показалась «буханка», пошла навстречу, и я услышал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.